

Комбат нервно стучал огрызком карандаша по карте. Окоченевшие пальцы уже не чувствовали холода, но сильнее морозного ветра жгла душу притаившаяся среди холмов лощинка, которую нечем было прикрыть. Накануне вечером батальон с приданными ему шестью танками ворвался в Новопостояловку, а уже позднее ночью пришлось принимать “гостей”. Батальон врос в ледяную землю твердо, но под холмом все накапливались новые ручейки, грозившие скоро стать наводнением. Пестрое войско бурлило и дыбилось, готовое вновь броситься на штурм новопостояловских холмов.

Именно сейчас, в минуту затишья, перед глазами комбата всплыла недавняя картина. Два дня назад их батальон окружил хутор, где укрылись до трёх сотен итальянцев. Уже подошла “катюша”, и миномётчики уложили на ребристые швеллера длинные реактивные заряды. Откуда-то выскочил мертвенно-бледный солдат и упал комбату в ноги, сбивчиво умолял не стрелять по хутору: он здешний, в хуторе его жена и дети. Комбат, уже распалённый тем последним пылом, от которого не отвернуть, чуть поколебавшись, всё же рубанул рукой воздух, дав отмашку миномётному наблюдателю. Воздух задрожал от залпов. Подняв за плечи дрожавшего в рыданиях солдата, комбат крикнул ему в самое ухо:

— Разведка доложила: нет там никого! Хутор выселенный!

Солдат знал, что командир врёт, и всё твердил сквозь рыдания:

— Да как же я... воевать дальше... да как же... других освобождать-то буду, когда своих...

“Катюша” проутожила хутор, и тот вспыхнул с нескольких концов. Уцелевшие итальянцы кинулись навстречу красноармейцам с поднятыми руками. Из окна крепкого рубленого дома лупанула пулемётная очередь. С десятков сдавшихся, падая, зарылись в снег, а другие продолжали бежать, на ходу указывая в польхавшее оранжевым светом окно:

— Ньемец! Ньемец!..

Кто-то из солдат закинул в окно две гранаты. Итальянцев переловили и собрали в колонну на краю горевшего хутора. Комбату доложили, что обошлось почти без потерь, только при штурме злополучного дома убит один и ранены двое. Ещё сказали, что среди трупов нет ни баб, ни детишек, одни погибшие итальянцы: хутор и вправду оказался безлюдным. Это, конечно, обрадовало бы того хуторянина, что просил у комбата милости для родного гнезда, но он-то и был тем единственным погибшим солдатом.

Комбат через вестового вызвал одного из ротных. Пристроившись на заваulinке покосившейся хатки и расправив карту на жестяном корыте, перевернутом вверх дном, комбат объяснял:

— Видишь балку?

— Вроде как и хуторок имеется, — присмотревшись, ответил ротный.

— От хутора одно название. Был я там утром. Два сарая да три кошары. Остальное погорело, и немец на блиндажи растащил. В общем, набери у себя человек десять. Я Витюху своего за резервами послал. Возьмёт кашеваров, водительскую братию да ремонтников с санитарями. Десятка два с половиной наберётся. Витюху во главе поставлю — и туда. Пусть держат.

— Как считаешь, командир, выстоим?

Комбат ответил не сразу. Опять привычно постучал карандашом в какой-то топографический знак на карте, подул на заледеневшие пальцы, кашлянув, медленно произнёс:

— Вижу, к чему ты клонишь. Я и сам вчера думал: “Да чёрт с ними! Задачу мы выполнили, село заняли, через него они не пройдут, и пусть разбегаются, как тараканы, кто куда. Пусть их там, под Ольховаткой, другие перехватывают”. Только нам их потом опять же бить! Когда они на новых рубежах очухаются, окрепнут. Выходит, нельзя их туда пускать! Теперь надо! Пока он дерьмо своё из штанины вытряхнуть не успел. Пока у него под носом юшка не растаяла. А уж выстоим или нет...

Вестовой Витюха к этому времени уже подчищал тыловые резервы. Пожилой повар, быстро раскупорив банку консервов, снял сверху ножом слой жира и кинул на затвор давно не смазанного, застывшего на морозе карабина. Фельдшер из санбата туго набил сумку перевязочными пакетами, а карманы — пачками патронов в промасленной бумаге. Из-под капота итальянского грузовика вылез шофёр с мазутными полосами на щеке. Его пальцы, непривычные к здешним морозам, прилипали к металлу, и кожа на суставах кривила.

Шофёр был родом из далекой южной страны. Ещё три дня назад он носил другую форму, подчинялся иному начальству и другие в его окружении были соратники. Но в ночном бою его колонна попала под обстрел и сдалась без боя. Русским тоже до зарезу были нужны грузовики, ведь в этой снежной пустыне не угнаться за бегущими пешком. Шофёра и его товарищей построили тут же, у заглушённых грузовиков, и советский политрук на плохом языке их народа предложил послужить делу Сталина. Их увещевали, что служба будет глубоко в тылу, вдали от военной опасности. Им обещали скорую отpravку домой, как только Советы победят Муссолини. А тем, кто не согласится, сулили долгую отсидку в далёкой и морозной Сибири, где холода и выюги такие, что нынешние покажутся райским отдыхом. Почти все земляки шофёра согласились. Их тут же одели в старую, а порой и окровавленную красноармейскую форму и снова усадили за водительские баранки.

С тех пор шофёр намотал немало километров, дважды застревал в сугробах, переворачивал канистру над топливным баком, насыщая своего “зверя”, ещё меньше ел сам, почти не спал и вовсе не отдыхал. В его “фиат”

что-то грузили, выгружали, садились и вылезали солдаты. Перед глазами мелькали освобождённые, охваченные огнём, дотлевающие хутора, в которых совсем недавно жили его земляки. И он жил в таком же хуторе целых четыре месяца и всё не мог привыкнуть к этим русским. Три дня назад он видел, как в освобождённом хуторе убивалась над трупом солдата молодая селянка. Он подумал, что это фронтовые дороги завели погибшего солдата в родную сторону, и неутешная вдова плачет над телом мужа, но напарник Луиджи, сносно понимавший по-русски, объяснил ему, что эта девушка впервые видит павшего солдата. В ней смешались радость освобождения и тоска утраты. Она и живым-то его не видела, но вот теперь горюет, как по родному.

— Эй, Франческо, айда со мной! — хлопнул шофёра по плечу чубатый парень.

Этот чубатый постоянно был у главного начальника на побегушках. Интересно, что ему понадобилось? Может, начальник вызывает Франческо к себе, чтобы, наконец, отправить в глубокий тыл, туда, где есть натоленные хаты, горячая еда и настоящий гараж.

Но чубатый поставил его в строй с другими красноармейцами, вручил итальянский карабин и перепоясал патронташем, добавив: “На, твоей системы, должен разобраться”.

Шеренга из двадцати пяти бойцов развернулась и жидкой ниточкой потекла в лощину. От хутора и впрямь почти ничего не осталось. Зияло несколько пожарищ с чёрным закопченным настом вокруг и мутными лужами растопленного снега, уже подёрнутого ледяной коркой. Уцелевшие постройки были раскиданы по обеим сторонам дороги, что стелилась по дну лощины. Рядом с дорогой петляла неглубокая канава с перекинутыми то тут, то там шаткими мостками.

Вестовой распределял бойцов по уцелевшим строениям. Дошла очередь и до Франческо.

— Так, кто тут ещё остался из тыловой шатии? Друг наш итальянский да Терентий из санбата. Разбавим вас пулемётчиком вот, бронебойщика дадим. Кто ещё? Ну, давай ты, Митрич! Да не журись, с тобой медицина будет — Терентий, цельный фельдшер. Вот впятером и давайте в ту вон хибарку. Там и крыша целая, задувать не будет.

Пулемётчик первым подобрался к хибаре и надавил на низкую, вмёрзшую в землю дверь. Она крикнула и сорвалась с петель. Жилище оказалось полудобитаемым. В нём были маленькие сенцы, низкий потолок и крошечная печурка. Как только началась операция с дверьми, на чердаке взбудоражено заголосила курица.

— О, теперь мы её быстренько в бульончик! — ожил Митрич, крайне терявшийся, если уходил от полевой кухни дальше, чем на километр.

— Охолонь, стряпуха! — цыкнул на него бронебойщик. — Для начала позицию сготовь.

— И как уцелела, шельма? — будто не слыша, вставал на цыпочки и пытался заглянуть на чердак Митрич.

— Да заткнись, тебе сказано, поварска душа! Тут бой на носу, а винкуру гоняе, — ругался бронебойщик.

Стёкол не было во всех трёх окнах, на земляном полу под ними высились снежные курганчики. Пулемётчик без разговоров встал у окна, выходящего к горловине ложбины, установил найденный низенький стол и упер в его крышку пулемётные сошки. Бронебойщик пехотной лопаткой в пять минут прорубил в саманной стене хатки узенькую бойницу. Она расположилась у самой земли. Установив ружьё, он лёг на пол и поводил стволом из стороны в сторону. Фельдшер присел на колено у бокового окна и долго смотрел в него, изучая склон, на котором мог появиться противник, затем растегнул сумку и, достав два жгута, обмотал их вокруг приклада своей винтовки. Рядом со стеной фельдшер разложил несколько перевязочных пакетов, самодельную шину, вырезанную из банки от американской тушёнки, и гранату в сетчатой рубашке. Митрич всё время топтался у третьего окна, переминался с ноги на ногу и прислушивался к недовольному куриному квохтанью.

— Не топчись там, — обернувшись, сказал ему бронбойщик. — Нимэц с тылу не прыйдэ. Шагай до фельдшера.

Митрич покорно встал рядом с Терентием. Франческо всё это время жался у печки, не зная, что ему делать и куда приткнуться.

— Пидходь до мэна, итальянэц, — махнул рукой бронбойщик. — Будэш вторым номэром. Бачь, оде бэрешь обойму и патрон пыхаешь.

Бронбойщик легко вправил длинный патрон в магазин. Затем замкнул обойму под ложем долгоносого ружья, показал, будто выбил все пять патронов и, отцепив магазин, не глядя, бросил его Франческо, глазами указав на мешок с патронами. Франческо едва заметное кивнул. Пулемётчик, сняв диск и убедившись в его полновесности, с громким щелчком насадил его обратно.

Во вражеском стойбище гул не стихал. Ревели танковые двигатели и моторы артиллерийских тягачей, на низких оборотах страдали в последнем предсмертном рывке увязшие в сугробах грузовики. Изредка сквозь гомон прорывался пронзительный крик мула или надрывный коровий плач. Масса в двадцать тысяч человеческих голов, растянувшись на несколько километров, клокотала и клубилась в широкой заснеженной долине.

Разноязыкую многоголосицу разрезал зычный клич:

— Доблестные альпийцы! Многие из вас знают меня! Я был с вами в боях! За этими чёртовыми холмами наша с вами жизнь! А значит и жизни наших жен и детей! Спасение только в прорыве! Нас много, ведь не зря наш девиз — лавина, несущая смерть! Так давайте взроем эту трижды проклятую высоту! На ней лишь горстка русских. Накроем их своей лавиной!..

В толпе возникло оживление. Командир-оратор бегло подзывал начальников подразделений и раздавал торопливые приказы. Он спешил, пока колыхнувшееся возбуждение не померкло. Многонациональная лавина из армий трёх государств поползла на взгорок перед Новопостояловкой. Отдельные рукава её заполнили балки, овраги, промоины.

В узкой горловине показалась серая человеческая каша. Закутанные в тряпье лица, плечи, укрытые поверх шинелей шерстяными одеялами, полосатые домашние чулки, торчащие из кожаных, подбитых железными крючьями башмаков. Какого-то порядка или строя не наблюдалось. Люди просто валили толпой в надежде прорваться или умереть.

С улицы донёлся голос вестового:

— Огонь по команде! Слушать, когда мой “папаша” загавкает!

Пулемётчик широко расставил ноги и наклонился над пулемётом. Сувив своей монголоидные глаза, он поймал в прицел передний ряд и замер. “Лучше, чем в тире, — думал он, — ни одной пули в молоко. Это тебе не на охоте, где за каждый впустую потраченный патрон дед до крови дерёт ухо. Волк — охотник, его жалеешь, когда подстрелишь. А этих стоит ли жалеть?”

Фельдшер ещё раз оцупал карманы с патронами, снял винтовку с предохранителя, загнал патрон в ствол. “Соотношение простое — один к сорока, не меньше. Только бы хватило бинтов. Жгуты на прикладе, в сумке рыться не придётся. Всё здесь, всё под рукой”.

Митрич подавленно опустил руки с винтовкой к земле: “А завтра Прощка сам будет крупу отмерять, сам в бак снег вместо воды таскать, сам дрова рубить... если сегодня выживет... прощай, Авдотья... прощай, Колушка... прощай, Маринка...”

Бронбойщик плотно прижал приклад к плечу, притёрся щекой к кожаной накладке, прищурил левый глаз и, забывшись, в напряжении приоткрыл рот. В голове его пробегало: “Такой ценой умирать не страшно. Отплатят же они мне сегодня. За отцовский дом, за сестёр и мать, что остались под немцем! За Днепр, из которого их поганые рты святую воду мою пили... за всю нашу землю на веки веков опечаленную”.

Франческо лежал на животе рядом с бронбойщиком и смотрел в наплавившие лица. Лица его земляков, его однополчан. Они ещё далеко и почти не различимы, но вот в фигуре того долговязого парня столько схожего с Антонио... Его земляка Антонио. Та же сутулая спина и угнанная в плечи голова, та же походка. Совпадение или мираж?

Антонио, слабо сжимавший в руках, более привыкших к водителескому рулю, чем к оружию, короткоствольный карабин, конечно, не видел своего притаившегося за амбразурой товарища. Омертвев от страха, он двигался по инерции, влекомый толпою. Мысли роились в его мозгу: “Я целиком погружаюсь в эту стрельбу. До сих пор она была где-то спереди, сбоку, сзади, но всё время на расстоянии от меня, а теперь я полностью окутан ею. Нас все меньше, и никто не вернётся домой. Может быть, только эти немцы? Они бывали в переделках и держатся особняком. Мы для них “*italienische zigeuner*” — сброд, цыгане, мразь. А ведь это из-за них мы здесь! Разве это моя война? Я бы прожил и без этих заснеженных пустынь, без этих хуторков, без этого воздуха и неба. Мне всего хватало вдосталь дома”.

След в след за Антонио шагал венгерский гонвед, такой же долговязый и понурый. Винтовку он держал наперевес, и его правая рука выбивала мелкую дробь на прикладе. Трудно было сказать, отчего он трясся больше. Страх ли, усиленный холодом, колотил его промёрзшее тело или тоскливые мысли о доме? А может, и собственные воспоминания: “Господи! Я знаю, за что ты так со мной... за ту русскую девку, опоганенную... за расстрелянных русских пленных... за старуху, что спяну зарубил посреди улицы”.

Среди венгерских солдат прихрамывал, волоча подмороженную ногу, закарпатский русин. Он часто поднимал глаза к небу, жмурил их, а когда раскрывал веки, то по щетинистым щекам его текли слёзы. Всё время, пока они шли по лощине, он истово молился. Иногда его молчаливые молитвы прерывали мысли: “Там, по ту сторону фронта, возможно, такой же украинец. Говорит на том же языке, что и я, поёт на Рождество те же колядки, что и я. Он тоже здесь поневоле?”

В хвосте непролазной тысячной тучи ползли два немецких танка с взводом пехоты. Солдаты осторожно ступали по взрыхленной гусеницами и двумя тысячами ног каше, изредка выглядывая из-за брони. Горбоносый ефрейтор накинул кашюшон маскхалата, нагнувшись, ухватил на ходу горсть снега и бросил себе в рот. Снег был с запахом солянки. Ефрейтор пожевал его и сплюнул на сторону. Выглянув из-за танка ещё раз, он подумал: “Скорей бы началось уже. Хотя, может, и нет здесь никого? Тогда рванем на скорости. Но сомнительно, чтобы русские здесь никого не оставили. Лощинка удобная, а они, кажется, научились воевать. Русак не тот, что в прошлом году, стал крыть нашей же каргой. Ну, что там эта шваль? Сейчас её настелют слоями, а нам доделывать работу. Есть надежда, что русские переведут на них все патроны и силы. В этом и будет польза паршивой овцы”.

Первого выстрела ждала как одна, так и другая сторона. Когда в толпе наступавших стали различать ошетилившиеся стволы в окнах и проломах сараев, с крыши какого-то хлева проголосил ПППШ вестового. Франческо услышал, как на чердаке курица в последний раз вскрикнула и замолчала, то ли убитая, то ли перепуганная насмерть. Молчание вдруг, к удивлению итальянца, сменилось живой переключкой и даже чуть ли не балагурством, которого он никак не ожидал от этих людей с жёсткими и сосредоточенными лицами.

— Гарнэ жниввё, лишь бы боезапасу хватало! — кричал бронебойщик, переставляя в ружье кассету.

— Не думай, Толик! В штык пойдём, как соседний полк! — вторил пулемётчик, не отрываясь от прицела.

— Слышал и я эту байку!.. Там две сотни в ножи взяли!.. Итальянец квёлый, обессилел от Дона драпать!.. — между выстрелами вставлял фразы фельдшер.

— Эхма! Выноси угодники! Отродясь столько не стреливал... — отдувался Митрич.

Человеческое море натолкнулось на поток свинца, но не отпрянуло, а волна за волной неслось дальше. Люди уже не принадлежали себе — лишь стихии. Лёгкая плотина из советского многонародья затрещала под напором навалившейся волны фашистско-нацистского интернационала. Однако и волна заметно прогибалась, рушилась. Чем ближе к плотине, тем гуще стелились её потоки.

Бронбойщик лупил из самозарядного ружья очередями в пять патронов. За квадратной нащёпкой ствола он видел, как переламываются пополам тела, как отрываются руки, а порою и головы, срезанные ударами противотанковых пуль. В перерывах между стрельбой глаза его выхватывали людей, что рушились на колени, крестились по-заграничному, разводили руки в стороны, складывали их на груди и о чём-то молили небеса, тут же втаптывались в снег задними рядами или гибли под пулями, которые и вправду не одиножды не пролетали мимо. И вновь плюхало его ружьё. Франческо не успевал набивать магазины, с непривычки и в растерянности едва попадая патроном в приёмник.

— Собачник паршивый! Як тэбэ в армии дэржалы?! Чёрт мазутный! — безжалостно крестил его бронбойщик.

Пули, легко прошивая саманные стены хибарки, выщёлкнували пригоршни сухой глины. Франческо вжимал голову в плечи, растягивался на земляном полу и ещё больше терялся под потоком бронбойной брани. Один из таких пулевых щелчков свалил на пол кашевара. Фельдшер дострелял обойму и склонился над телом Митрича. У того в боку вылез кусок ваты из засаленной телогрейки, но вата была не белой, а красно-рыжей. Разорвав пакет, фельдшер торопливо зачихнул в дыру телогрейки свежей ваты, зарядил винтовку и снова бросился к окну.

Из тылов неиссякаемой волны вырвался пушечный залп. Франческо увидел в заднее окно, как снаряд развалил стену в соседнем сарае. Через минуту из-под обломков стены проклянулся ноздреватый ствол автомата. Из пыли и дыма проявилось лицо с примятым чубом, перепачканное кровью и глиной. Пламя из автомата ещё раз выскочило тонкой жалящей струей, а потом ствол безвольно ушёл в гору.

Франческо сел на пол и прижался спиной к стене. Пуля щёлкнула над его головой, затем у левого уха, а следующая вместе с доброй порцией глины отбросила его прижатый к стене затылок. Голова итальянца упала рядом с наметённым в разбитое окно сугробом. Ворох снежинок колыхнулся над маленьким курганчиком, и одна из них одиноко опустилась на глаз убитого, растаяв там, в уже мёртвом, но ещё тёплом, не остывшем зрачке.

Располовиненная волна смяла худенькую плотину и, утратив скорость и силу, всё же покатила дальше. Танки проутюжили развалины. Только хибарка с пятью мёртвыми солдатами осталась нетронутой. Когда снежно-глиняная пыль осела, а над ложиной ещё не утих стон раненых, курица, отчаянно кудахча и хлопя крыльями, слетела с чердака. Она прошлась по хибаре, переводя недоуменный птичий взгляд с предмета на предмет, клюнула выпавшую из саманной стены раковину речного моллюска, и, продрогшая, угнездилась в оброненную кем-то солдатскую ушанку, спрятав от холода свои уродливые лапы.